



Иван Шульпин

Прощание с Багусями

Памяти писателя

Иван Шульпин

**Прощание с Багусями.
Памяти писателя**

«Издательские решения»

Шульпин И.

Прощание с Багусями. Памяти писателя / И. Шульпин —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837337-4

Герои писателя И. Шульпина — его современники. Иван Шульпин начал создание своего мира художника с показа жизни одного приволжского села, точнее, одной деревенской улицы. Проза И. Шульпина лирична, её отличает акварельная прозрачность, чистота и ясность языка. Некоторые произведения этой книги можно назвать стихотворениями в прозе.

ISBN 978-5-44-837337-4

© Шульпин И.
© Издательские решения

Содержание

Прощание с Багусями	6
Ехал царь Петр Первый	6
Деревенская улица	8
В село приехали цыгане	29
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Прощание с Багусями Памяти писателя

Иван Шульпин

Иллюстратор Людмила Бессонова

Дизайнер обложки Людмила Бессонова

© Иван Шульпин, 2019

© Людмила Бессонова, иллюстрации, 2019

© Людмила Бессонова, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-4483-7337-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Прощание с Багусями

Ехал царь Петр Первый

Из истории села Багуси



Багуси – село старое. Никто, конечно, не помнит, как и когда оно образовалось. Стоит себе, как будто стояло тут с самого сотворения мира. Но так не бывает, чтобы жили люди и ни разу не задумались, почему это они живут именно здесь и как это так получилось, что поселение называется Багуси? Обязательно найдутся любопытные да дотошные, которые задумаются. Иначе и быть не может. Во-первых, самим интересно; во-вторых, всякий приезжий человек может спросить, например: почему Багуси? И стыдно будет пожимать плечами. А приезжих теперь в Багусях бывает много. То автоколонна из какого-нибудь дальнего города на уборку нагрянет, то студентов пришлют. А однажды приезжал изыскатель, землю бурил под строительство коровников, черный такой, курчавый; так тот даже напевал – Ба-агуси, Ба-агуси... И все допытывался: откуда могло произойти такое певучее название?

Обычно происхождение и странное название села любопытствующим толкует старик Сосок. А не случись старика рядом, все равно объясняют его словами:

– Ехал, стало быть, царь Петр Первый из города Петровска... А город, между прочим, в честь царя Петра так назвали... Так вот, едет царь Петр Первый – кругом глушь, безлюдье. Вдруг видит: гуси домашние писит~ ся... Петр толкнул в бок друга-приятеля Менишкова, который рядом в карете подремывал, да как закричит: «Ба, гуси!» Подъехали поближе, глядь – хозяева живут. Менишков спрыгнул с кареты и спрашивает: «Что за поселенье?» А хозяин ему: «Живем, говорит, хлеб жуем, вот и все поселье...» А Менишков – между прочим, озорник был – и говорит мужику: «Теперь поселье звать должно Багуси! Так сам царь Петр Лексеич повелел. Вон он в карете сидит». Так и повелось – Багу си да Багуси...

Школьники из исторического кружка рассказывают о происхождении села по-другому. Откуда-то разузнали они, что первыми появились на месте нынешних Багусей переселенцы из дальних северных краев, монастырские крестьяне. Будто пришли сюда те крестьяне, чтобы сеять на свободных приволжских землях пшеницу и отправлять ее обозами в свои монастыри, где поля были неурожайные. В доказательство школьники указывают на то, что в Багусях много живет людей светловолосых и голубоглазых, а в их речи встречаются слова,

необычные для местных говоров. Например, слово **НЕФЫРЬ**, или, по-другому, **НЕФИРИСЫЙ**. Так в Багусях называют людей стеснительных, неловких в **общении**, диковатых. **И** действительно, это **слово в собрании Даля** помечено как вологодское.

Трудно рассудить, кто больше **прав старик Сосок** или школьники из исторического кружка. Скорее всего **они дополняют друг друга**. Никто ведь с **уверенностью не скажет**, что тот самый мужик, который вышел навстречу Менишкову, не был одним из монастырских крестьян. Да и сами школьники вписали рассказ старика Соска в свой альбом, хотя и оговорились, что это, мол, из фольклора.

Деревенская улица



Вечером под Новый год у егеря Константина Волкова были гости. Собрались приятели хозяина, соседи и просто люди уважаемые. Словом, без малого вся улица.

Колхозный бригадир Павел Кузьмич Корнев, мужчина в возрасте, степенный, которого худой варежкой махни – не зазовешь на выпивку, к егерю, однако, пришел, потому что любил посидеть в приличной компании, выпить стопки две-три и сыграть сообща песню. Пришел, несмотря на то что уже неделю домовничал (жена Павла Кузьмича гостила у дочери, в городе), а тут еще забота прибавилась: корова дохаживала, ждал со дня на день. И все-таки пришел.

Пара Вязовых была, Петр и Татьяна. Сам Петр – комбайнер, а в зимнее время моторист на ферме – петь-плясать мастер, никакой компании никогда не чурался и везде приходился своим человеком. Жена его, баба горластая и вздорная, на гулянках от Петра не отставала ни в пляске, ни в песне и пила с ним на равных, но на следующий день утром поднималась чуть свет и распекала еле живого с похмелья мужа, уличала в алчности к водке. Мало того – выславила его на всю округу как пьяницу, каковым на самом деле он не был.

Пришел лесник Живайкин, мужик огромный, глаза навывкате, будто ему когда-то сильно стукнули по затылку. Он нюхал табак и имел привычку, подвыпив, ни с того ни с сего предлагать собравшимся какую-нибудь несуразную шутку. Вроде того: «Пойдемте бабушку Булаеву напугаем!» или: «А что, если у Соска трубу соломой заткнуть?!» – и сам же очень этому радовался.

С ним пришла жена, женщина тихая, вечно беременная, с ежечасно меняющимся цветом лица.

Была в компании молодежь – Иван Тугушев и Катя Ненашева. Иван по осени вернулся из армии и опять, как до службы, сел за руль трактора «Беларусь». Жил он через два дома от Волковых и был приглашен как сосед. Катя же приехала в Багуси после библиотечного техникума, по направлению. Сельсовет поселил ее в маленьком домике, прямо напротив егеря. Дружьями обзавестись она еще не успела, скучала; люди это понимали, старались приобщить ее – то на чай пригласят, то к телевизору. Поэтому и попала Катя в новогоднюю ночь к Волковым. Хотя не только поэтому. В улице с недавних пор стали замечать, что Иван ухаживает за библиотекаршей, и кто молча, кто вслух одобрили это: Катя всем нравилась, а Иван, ухаживая за ней, вроде образумился – неслышно стало о его проделках. Хозяйка дома хоть и недолюбливала Ивана, потому что его проделки часто касались и ее, но на праздник пригласила.

Любила егеря жена, как многие бабы, посводничать! Гости изрядно выпили, по ска-терти уже был разлит вишневый компот, расплываны семечки соленого арбуза, тарелки с маринованными грибами уже опустели, когда сияющая Кстинья, жена егеря, подала поросенка, зажаренного целиком и обложенного кругом мочеными яблоками. Гости приятно изумились, долго не решались приступить к поросенку и все расспрашивали Кстинью, у которой нос побелел от волнения, о рецепте и секретах блюда, и только после решительного поступка хозяина – он ловко подцепил вилкой половину поросячьей головы – всем скопом навалились на угощение.

Кушайте, дорогие гостечки, кушайте, – приговаривала Кстинья. – Чем богаты, тем и рады... Кушайте, не стесняйтесь...

Галдеж, когда все говорят, и никто не слушает, с появлением поросенка утих. Компания распалась на группки, и разговор пошел со смыслом.

Ты что его заколол-то? – спросил хозяина лесник Живайкин, терзавший вторую половину поросячьей головы. – Большой он, что ль?

Бракованный. Я его у Павла Кузьмича на ферме выписал. Не растет, а только корчится. Тепла ему надо, а у меня хлев как решето.

Свинья, она тепло любит, – согласился лесник. – Хлев надо было ухетать.

Тес нужен, а из руки его не напилишь.

Ты что же, дорогу к нам забыл? – обиделся лесник. – Иль отказали бы!

Кстинья давно прислушивалась к разговору мужчин и, наконец, встряла. Да он, тютя такой, к своим людям не может приклониться! Такой уж нефырь.

Нет, уж ты будь добр, запомни: дровишками там, леском зануждаешься – ко мне. Всегда уважу, – заверил лесник.

А с дровишками у нас прямо беда, – тут же затужила Кстинья. – Повадился один друг по ночам в поленницу. Штабель на глазах тает... А этот, тютя, все ушами хлопает.

Это точно, озорует кто-то, – подтвердил Константин.

Эк, велика тайна – кто! – возмутилась Кстинья. – Помяните мое слово – Сосок! Лодырь старый, только сказочки сочиняет да наливками вас, дураков, поит, а топку, он – кто видал? – заготавливал хоть раз? То-то, не видали! А дым из трубы пускает. Это что же он – сказочки свои жгёт?..

А наливки у Соска хороши, – не разобравшись, в чем дело, ввязался в разговор Петр Вязов.

Да и не верится мне, чтоб старый человек на воровство пошел, – усомнился Константин.

А отчего же тогда у него цыпки под глазами? – спросила Кстинья. И, не дождавшись ответа, разъяснила сама: – А оттого, что всю ночь не спит, ворует – днем глаза от недосыпу слезятся и ветрят!

А чем докажешь? На лбу-то у него не написано, что он воровал, – не согласился Константин. Но про себя подумал: «Вот камфара! Как следователь».

А ты докажи, – настаивала Кстинья, – не поспи ночку да выследи. Возьми ружьишко да посиди ночку. Вот и докажешь.

– Да ведь так замерзнешь к ядрене-матрене! – удивился Петр Вязов, который кое- что понял из разговора.

Ничего, вы, когда лисы мышкуют, сутками в ометах просиживали, а тут за свое добро ночку боитесь.

Стоп-стоп-стоп! – заорал вдруг лесник. – Сейчас все обладим! И ночь не надо мерзнуть... Неси, Кстинья, полено потолще и бурав.

– Зачем?

– Неси, говорю, сами все увидите...

Кстинья, ничего не понимая, принесла чурак и бурав. Лесник поставил полено на попа, попросил Кстинью придерживать его, а сам стал сверлить в торце отверстие. Загнав бурав сантиметров на двадцать, он вытряхнул стружку, захлебываясь от удовольствия, объявил:

– Теперь насыпем в дыру порошу и заткнем пробкой! Я в книжке недавно про такую штуку вычитал... А завтра утром у кого горшки из печи вылетят – тот и вор!

Лесник довольно засмеялся, женщины ничего не поняли, а Павел Кузьмич попытался возразить:

– Так ведь можно человека до смерти напугать...

– Ничего, – сказал лесник, – в Европе, говорят, вора́м руки отрубают, потому без замков живут. А за испуг не бьют!

Кстинья отнесла чурак в поленницу и, вернувшись в дом, прямо от порога затянула:

*Однажды морем я плыла
Ны па-рохо-оди то-ом,
Погода чудная была,
И вдруг начался шторм!*

И сразу ожила, заголосила беременная лесничиха, дружно взялись Вязовы, слышался бас Павла Кузьмича.

*А-а, а-а, в глазах туман,
Кружится голова.
Едва стою я на ногах,
Но я ведь не пьяна...*

И Иван Тугушев озорно горланил, подмаргивая лесничихе, намекая на ее живот, и особенно налегал на слова припева:

*А кто же в этом виноват?
Конечно, капитан!*

Только Катя Ненашева вначале молчала. Слов она не знала, а ритм, в котором компания исполняла песню, разухабистый, с длиннущими затяжками, пугал ее. Но и она, чтобы не привлечь к себе внимания, вскоре зашевелила губами, стала робко подтягивать запомнившиеся повторы.

Однако Кстинья заметила смущение молоденькой гостьи и подседа к Кате.

– А ты, миленькая, не тушуйся, мы люди простые. Пой веселей! А песни наши не знаешь – так закуси. Ешь, не стесняйся. У нас все свое, не покупное, как в городе... Ешь, ешь, миленькая, да приглядывайся, как люди на стол готовят, учись. С такой красотой тебе не долго в девках ходить, – Кстинья игриво подтолкнула Катю локтем и указала взглядом на **Ивана**, – вон как постреливает!..

Песню меж тем допели.

Лица у певцов были еще бурые с натуги, и белки глаз на них выделялись неестественно ярко, но на мужской половине стола уже затевался разговор. Подтрунивали над хозяином: дескать, охотник-охотник, даже егеря, а дичинки на столе не видно.

– Какая теперь дичь, – оправдывался Константин, – на каждого зайца по десять стрелков. Лоси было появились, прижились в гаю, но – не уследил – и до них какой-то ухарь добрался. Обоих взрослых завалили...

– Сразу обоих! – ахнул лесник, суетливо достал табакерку, втянул в нос щепоть табаку и так сморщился, что слезу из глаз выдавил. – Сразу обоих, эт надо...

– А теленок остался, – продолжал Константин, – то ль не разглядели его, то ль второпях забыли. Я ему в зиму две копы сена оставил на прокорм. Сначала вплотную подпускал, теперь подрос – дичится. А от сена не уходит.

Дослушав рассказ егеря, Павел Кузьмич засобирался. Константин своей историей напомнил ему о корове, надо было за ней присматривать, да и время позднее. Павел Кузьмич поблагодарил хозяев, поздравил всех еще раз с Новым годом и, несмотря на уговоры, ушел. За ним вскоре поднялись и остальные. Только Петр Вязов попытался было затеять новую песню. Но Татьяна нахлобучила на него шапку и подтолкнула к двери.

Кстинья, провожая гостей, звонко чмокала женщин в щеки и приговаривала:

– Не забывайте, гостечки дорогие, нас. Всегда рады, всегда найдется, чем встретить...

Константин разносил мужчинам «на посошок», ходил по комнате со стопками в обеих руках и нечаянно расплескивал на пол наливку.

Уже на улице, обнимая Константина, лесник Живайкин укоризненно спросил:

– Вот я лесник, а вроде бы леса своего не знаю: ума не приложу – где ты лосенка спрятал?

– Э-э, нет, брат! Секрет! – скрытничал егерь. Но недолго. Вскоре с гордостью признался: –

А в долу, у Пудова родника. Туда зимой ни одна душа не заходит!

Когда гости разошлись, Константин пошел с фонариком в сарай, где была сложена поленница, намереваясь найти и разрядить полено. Но никак не мог его отыскать: ворошил-ворошил дрова, набил себе шишку на лбу, плюнул и вернулся в дом.

– Достань мне спальный мешок, пойду дрова караулить.

– Что это вдруг озаботился? – удивилась Кстинья.

– Нельзя так людей пугать.

– Ишь, какой сердобольный...

Егерь взял ружье, спальный мешок и вышел. В сарае он забрался на подложку, где было сено, и прилег...

* * *

Иван Тугушев проснулся рано, часов в семь. И сразу обуяла его радость, еле сдерживаемое ликование: вспомнился вчерашний вечер, ночь... Рядом, уткнувши голову между подушками, посапывала Катя. Все было призрачно в маленьком Катином доме: едва угадывалось зашторенное окно, смутно белела колонна голландки.

Уж очень просто все получилось, так просто, что теперь Ивану и не верилось...

Вчера Катя стала вдруг безразлично-податливой, смиренной. Потом то тихо плакала, то ласкала Ивана. Ивана же раздирал восторг, Иван смеялся, и Катя глядела на него испуганно.

– Я люблю тебя, – говорил Иван.

– И я, – одними губами отвечала Катя.

– Теперь ты моя жена, правда? – шептал он и пугался своего голоса, непривычных слов. – Завтра же попрошу у Павла Кузьмича лошадей. В сельсовет на тройке поедем, пусть будет, как в старину, – весело, с колокольчиком! Поедешь на лошадях? Коренным пустим бригадирского Ворона, а пристяжными двух белых, молодых. Ух!..

Неужто несколько часов назад все это было? Не верилось. Ивану не терпелось дожидаться дня.

Он осторожно выскользнул из-под одеяла и мягко попрыгал по обжигающе-холодному полу, несколько раз присел, наклонился туда-сюда, помахал руками. Холодок выстывшей за ночь избы приятно студил кожу, а изнутри ощущался приток тепла. Хорошо было Ивану.

Сдвинув шторку, Иван подышал на затянутае тонким узором льда стекло и заглянул в протаявший глазок. Прямо за палисадником начинался пологий спуск к речке, дальше бугром

поднимался другой берег, а еще дальше виднелись избы соседней улицы, из которой вырастала высокая пожарная каланча, облепленная вчерашним инеем. Утро еще еле-еле угадывалось по тайным переменам в тенях снежных сугробов, в самом воздухе, но была ясность, в которой не могло остаться незамеченным ни одно движение: белый снег, белые звезды и белая луна, черная блестящая щетина тальника вдоль речки.

– Иван, – тихо и испуганно позвала Катя.

– Я тут, – он отошел от окна и присел на кровать.

– Иван, уже утро? Все встали, да? Как ты пойдешь? Тебя увидят, мне будет неудобно...

– А так вот и пойду. Выйду сейчас на крыльцо и закричу на всю улицу: эй-эй-эй, земляки!

Кончай ночевать!.. И пойду себе. Да еще ручкой тебе помашу...

Катя молчала. И было в ее молчании что-то от беспомощного укора, была растерянность.

– Ну что ты? Вспомни... – Иван приподнял ее голову, поцеловал Катю в глаза и почувствовал губами слезы в ямочках у переносицы. – Я люблю тебя.

Катя молчала, но Иван услышал, как упали на его плечо холодными каплями ее пальцы, как вся она зябко дрожала.

– Тебе холодно?

– Нет.

– Я сейчас растоплю печку. Потом пойду домой на работу, а к вечеру вернусь.

Вышел Иван от Кати в восемь часов. В кухонных окнах домов уже горели огни. То там, то тут хлопали двери. Но Иван не стал крадучись пробираться по задворкам к своему дому, а пошел напрямик через улицу. Сначала прошел по целику от Катиного дома к Сосковой избенке, нарочно загребая ногами снег, чтобы оставить широкий, издали приметный след, а от Соска к своему дому направился по тропинке, им самим протоптанной.

Дома уже встали. Брат Ивана, Анатолий, сидел за столом, завтракал, а его жена хлопотала у печки. Оба встретили Ивана удивленно-вопросительными взглядами.

– Женюсь! – сказал Иван с порога.

– Ну и, слава богу, – одобрила братнина жена.

Анатолий понимающе улыбнулся.

Наскоро позавтракав, Иван завел трактор, стоявший у двора, и покатил вдоль улицы. Напротив дома егеря из-под самых колес Иванова трактора метнулось что-то, похожее на черта: то ли куцая собака, то ли козел...

* * *

Чуть только развиднелось, окна поглубели, избяной сумрак стал сжиматься по углам.

Павел Кузьмич, в исподнем, босой, стоял у окна и глядел в лунку проталины. Утро лишь угадывалось по водянистой зелени востока. Из труб восходили к небу крутые дымы. Улетали людские сны из теплых изб. Там вон топят дровами: дым невесомый, призрачный – сны мальчишечьи, без забот и печалей. А там жгут уголь: непроглядный, багрово подкрашенный в вышине столб – сны взрослых. И все о том: а что готовит год новый, что сулит?.. Все о том.

Опомнившись, Павел Кузьмич быстро оделся и вышел в сенцы, долбанул кулаком по льду в умывальнике, покрутил пристывший клапан и умылся. Потом замешал болтанку из отрубей, проскрипел по двору и нырнул в утробное тепло хлева. Корова Румянка ткнулась мордой в его плечо.

– О чем только думаешь? – ворчал Павел Кузьмич на корову. – На привязи, что ли, около тебя сидеть?..

Бранил он Румянку за то, что все сроки вышли, а она, казалось, и не думала телиться, будто не в тягость ей такое бремя, такой кошель. Павел Кузьмич пощупал жилы коровы и вздохнул: нет, не обмякли, не опустились. Вздохнул и покаялся, что взялся держать корову один.

Была бы двухдворка, как прошлый год, – и тоска пополам. Свел бы ее сейчас на два дня к Дашке, и пусть Дашка пождет, покараулит. Дернуло дурака одному впрягаться!

– А все тебя пожалел! – Павел Кузьмич ткнул кулаком в тугой бок Румянки.

Конечно, пожалел. Держали-то на двоих, но он, Павел, кормил, ползал круг коровы, а Дашка только молоко тянула. От него на веревке ведут – упирается, а от Дашки только выпусти – сама бежит. Хоть и кричала Дашка вслед с обидой: «Кинулась! Всю свеклу пожрала и кинулась!» А свеклы, помнится, летом всего две-три в огороде лопушились. А кричала: «Весь погреб свела!» Ну и балаболка! Сама даже кур своих так кормит: платочком со стола потрясет – и будь здоров, вспомнил жену свою. Некстати в город унесло! К дочери, внучат караулить, пока сами Новый год справят.

Крутись тут один.

Павел Кузьмич еще раз пощупал жилы, вздохнул и вышел из хлева. Пора на наряд. Бригадир Павел Кузьмич, бригадир... Вот уже и голуби со школы в сторону фермы потянулись, на кормежку. Иней с проводов осыпается. Пора, пора...

Бригада сходилась на наряды и на собрания в избу кузнеца Дашкова. Платило ему за это правление пятнадцать рублей в месяц, и называлась изба бригадной. Была она до черноты прокурена, смешались в ней и сжились запахи многих изб.

В бригаде никого еще не было.

Павел Кузьмич сел в угол к столу и стал прикидывать на бумажке, куда сколько человек нужно: сколько за фуражом, сколько на силосный курган, сколько на переброску молодняка в утепленное помещение...

Немного погодя стал собираться народ.

– Ну, вот что, – сказал Павел Кузьмич из своего угла, сказал громко, чтобы слышали все, – вот что: поспраждовали – и за дело.

– Дело – его не переделаешь! – тут же выпялился Тимка Амосов. – Хоть на праздник погулять с простору. Вкалываешь, вкалываешь!..

И поехал, и понес.

«Ну что за гонор в мужичонке! И трезвый ведь, и пить не собирается, и работать будет, – а других подначивает. Обязательно человеку покуражиться, понедовольничать. С таким лучше не встречать. Говори, говори... Врешь, подлец, угомонишься!»

– Ефремыч с Костей, запрягайте и на мельницу за дробленной. Возить прямо на ферму. Кладовщик примет... – начал Павел Кузьмич, не обращая внимания на куражливого Тимку.

Так бы и начался год новый – не совсем складно, но, в общем-то, по-деловому, мирно, если бы не заметил Павел Кузьмич в самый ход наряда парнишку у порога. Стоял парнишка и шмыгал носом.

«Вязов малый, – узнал бригадир. – Оборони и избавь...»

– Что это ты, Сань? – притворно ласково спросил Павел Кузьмич. – Не подмогнуть ли собрался?

– Мамка сказала, папка не выйдет, подменяйте...

– Как не выйдет?! Ты что плетешь, Сань?..

– Хворает папка.

– Нет, вы слышали! Хворает папка! Я ему покажу, как хворать! Ты, Федор, – обратился он к помощнику, – расставь людей. Я к Вязову.

Павел Кузьмич спешил. За ним мелко поскрипывал Санька.

«Ну не сукин ли сын! Видали такого? Ему праздник, а скотина с голоду дохни...»

Вообще-то, Павел Кузьмич уважал Петра Вязова. Мужчина он работающий и не сказать чтобы пьющий. Но размашистый.

– Ты гулять гуляй, но дело за собой помни! – на ходу сказал бригадир. Санька испуганно приостановился.

Петр Вязов работал мотористом на ферме – качал воду. Обычно Павел Кузьмич в праздничные или свадебные дни держал кого-нибудь на подхвате, зная слабость Петра. А вчера не учел.

– С Новым годом, с новым счастьем! – пропустив в дверь парнишку, поздоровался бригадир. – Где тут болящий?

– Вагой твоего болящего не поднимешь! Ни стыда, ни совести! Все кулаки оббила! У людей и мужики-то как мужики, а тут, будто в наказание всучили, – замолотила, видимо, не утихавшая еще Татьяна.

«Вот это похмелье Петру! – весело подумал Павел Кузьмич. – Ну и баба!»

Моторист лежал на диване под полушубком.

– Вставай, вставай! – затормошил его Павел Кузьмич. – Хватит дурака валять!

– Не могу... – только и простонал Вязов.

– Подымайся, весь год, говорю, хворать будешь. – Павел Кузьмич сдернул с него» полушубок. – Видишь, ты и в сапогах уже...

– Уже! Ночевал в них! – тут же взялась Татьяна. – Натопался, что лапы распухли! Вдвоем с Санькой не стащили...

– Да, чу, ты! И так голова трещит, – притворно поморщился Павел Кузьмич.

– Сильней, сильней вам надо! Чтоб совсем полопались!

– Старуха-то моя в городе, – бригадир подсел к столу, – и поправить некому...

– Давно бы от вас сгинуть куда глаза глядят!

– У тебя, может, есть там чего?.. – спросил Павел Кузьмич и покашлял в кулак.

– Есть, да не про вашу честь...

Татьяна юзом пустила стакан по столу и с маху плеснула в него из бутылки.

– Может, и над своим сжалишься? Не помирать же человеку...

Петр тяжело встал, подсел к столу и уронил голову на руки.

– Чего по столу-то размазлся? – не унималась жена. Но стакан подала...

– Ну, вот что, – сказал Павел Кузьмич, – давай на ферму. По дороге отмякнешь.

Во дворе он проворчал мотористу:

– Меру надо знать!

Вязов виновато развел руками.

– Тьфу! – круто под ноги сплюнул бригадир.

* * *

Разбудил Константина Волкова странный звук: неподалеку глухо, как толовая шашка в омуте, ухнуло. Стряхнув с лица волглый от дыхания пучок сена, егерь наполовину выбрался из спального мешка и заглянул вниз. Там никого не было. Егерь, еще туго соображая спросонок, пошарил около себя: рядом лежало ружье... Константин припомнил вчерашнюю гулянку, затею лесника и то, что он, Константин, сторожил всю ночь дрова...

«Уж не выстрелил ли я со сна-то? – подумал Константин. – Эк ведь садануло!»

Егерь понюхал оба ствола, но не доверил обонянию и переломил двустволку, выдернул патроны. Они были заряжены.

«Не гром же среди зимы?..»

Но не успел Константин что-либо еще предположить, как избяная и сенная двери хлопнули одна за другой, дулетом, проскрипел снег, дверь сарая с визгом растворилась – и вбежала Кстинья,

– Ты что же, мать твою так, блаженных на свет производить вздумал?! – заикаясь, прошипела она. И вдруг заорала: – Убью! Убью, изуит! – и принялась швырять поленья на подловку. – Все перекидаю, а убью! Пришибу... Убью... Убью...

Константин натянул на себя мешок и ткнулся головой в сено. «Голову проломит, камфара», – подумал он испуганно. Поленья перелетали через егеря и глухо ударялись в стропила и решетник где-то в глубине подловки.

Обессилев, Кстинья разревелась и ушла в дом.

Константин, спотыкаясь о разбросанные поленья, спустился с подловки и пошел следом за женой. Он никак не мог понять, в чем дело...

Опасливо заглядывая в избу, егеря увидел: жена сидела, уронив голову на столик швейной машинки, и ударяла в голос; на полу перед печью дымились угли, обгорелые поленья, валялся чугунок, была разлита не успевшая развариться гречка...

Заслышав мужа, Кстинья опять начала приговаривать:

– Убью... Убью... – и стала медленно подниматься.

Егеря прикрыл дверь и выскочил на улицу.

Было еще сумеречно. Константин увидел желтый соломенный дым над избушкой Соска и направился к старику.

Хибарка Соска притулилась под двумя широченными вязами. Стояла она особняком, посреди улицы, как раз там, где в старые времена люди зажиточные ставили выхода и амбары. Одна из таких построек и досталась когда-то Соску, стала его жильем. Ранний гость нашарил скобу и приоткрыл дверь.

– Егор Петров... встал, что ль?

– А, это ты, Константин, – угадал по голосу Сосок. – Заходи, заходи. Я уж, стало быть, гадаю: кто там пораньше в дверь скребется. Да...

– Выжила, камфара, из дома чуть свет! – пожаловался егеря.

– Кстинья, что ль? В чем же ты перед ней в такую рань опрохвостился?

– А-а! – махнул рукой егеря. – И нос ведь у камфары, как локоть, торчит, а помеченный чурак не разглядела. Сунула в печь чурак, который с подвохом... А-а!.. У тебя там стопочки не найдется, Егор Петров? Внутри все трясется...

– Найдется по такому случаю. – Старик достал из-под кровати склянку и налил в стакан. – На солодском корню настояна – духом приятна. На-ка, злобу как рукой сымает.

Сосок открыл дверцу печки и стал подбрасывать в огонь щепу и солому. Дрожащий красный свет освещал старика. Был он очень мал, сухощав и лыс. К тому же шея, лицо и даже лысина его морщились множеством складок. Поэтому и дали ему в улице прозвище – Сосок. Но старик не обижался. Егеря для деликатности поставил стакан на стол и поинтересовался:

– Ты что же это впотьмах сидишь?

– Небось, мимо рта не пронесешь, – пошутил Сосок. – Керосин в лампе кончился. Утром встал, покачал лампу, а она пустая, как звон.

– Давно бы свет пора провести.

– Они ведь, проводники-то, говорят, вяз мой надо обрубать, чтобы проводам не мешал. А мне его жалко: я под ним, стало быть, жизнь прожил... Ты пей, пей. Чего мнешься?

– Ну, с Новым годом, тебя, Егор Петров! Может, тоже за компанию выпьешь?..

– Какой из меня питух... Нет, Константин, доживу уж с лампой. Оно, между прочим, и жизни-то с гулькиным носом осталось... Тут вот даже история со мной вышла...

Константин выпил. Крепкая настойка подействовала быстро.

– У тебя как с дровишками-то? – заботливо спросил егеря.

– Есть пока, есть... Так вот, говорю, забава, какая со мной вышла...

– А то смотри, в случае чего – ко мне. У меня все лесники друзья. Чего-чего, а дров тебе всегда.

– Добро, Константин, добро. Так вот я тебе историю одну хочу рассказать...

– Ну ладно, давай. Я тебя давно не слушал.

– Это накануне Нового года было, перед большим снегом. Да... Сижу я один, хомутишко штопаю; к вечеру дело. Вдруг слышу: тук-тук-тук! – не то в оконную раму, не то в стену. Немного погода опять – тук-тук-тук! Ну, думаю, мальцы шуткуют: картошку к наличнику подвесили и дергают за нитку. Выхожу – сидит на углу, как красноармеец с красным лоскутом на голове, дятел! И опять – тук-тук-тук! А это, скажу я тебе, верная примета – гроб готовит; Раз дятел угол долбит – умирать кому-то в доме. А кому еще на моем углу гроб стучать? Мне!.. Но я в таких делах не промах, я ему сразу: «Кыш, заботник! Я сам плотник...» Он и пропал, как не было...

– Ну и горазд же ты выдумывать, Егор Петров! – удивился егерь. – Откуда только берешь?

– Вот какая история, – подытожил Сосок. – Доживу уж с лампой, Константин. Может, не долго дятлов шугать приведется.

– Эт ты брось хреновину городить, – серьезно предупредил старика егерь. – Помирать тебе никак нельзя: прореха в улице образуется. И зайти не к кому будет. И вообще все эти твои дятлы, нечистая сила – выдумка. Выдумываешь, себя пугаешь и людям мозги туманишь.

– Эт я-то вру?! Зелен ты еще, Константин. Такое ли я на своем веку видал! Ахнешь!.. Вот послушай, я тебе расскажу одну быль...

– Нет, пошел я. – Егерь встал из-за стола. – Тебя не переслушаешь. А если этот дятел еще прилетит – шумни меня, я его из ружья в пух пущу. Нашел вещуна...

– Погодь, погодь, Константин. Куда в такую рань? – засуетился Сосок. – Выпей еще стаканчик. Хошь – полынковой угощу? Ох и крепка, собака! Егерь замешкался.

– И Кстинья опять же возьметса, – добавил Сосок.

– Камфара, – зло согласился Константин и вернулся к столу. – Давай, рассказывай, какой там у тебя случай.

– Да-а... Так вот, стало быть, такой случай. Потеха!.. Да-авно дело было. Может, году в пятнадцатом, а то и раньше. Гафон Маркыч сына женил, Ефремку, ровесника моего...

Но рассказать ему не дали. В сенцах спешно, не обивая снега с валенок, прошли, дверь распахнулась, и на пороге появилась Кстинья. Длинный нос ее то ли от быстрой ходьбы, то ли от злости побелел и казался на лице чужим.

– Вот ты где... Нашел, где водопой отлогий... И думаешь, спрятался!

– Ты, Кстинья, поздоровалась бы, – вступился было Сосок.

– А ты, старый... тоже получишь! Ишь моду взял всех шатущих привечать, сказочками ублажать! Ныне же в сельсовет пойду! Иль и там у тебя клиенты? А? Я выше дойду!

– Ну что ты меня заклевала? – взмолился Сосок. – Что я тебе сделал?

– Я те покажу! Ишь, какой непричемный выискался!..

Константин тем временем взял шапку и – бочком-бочком – вышмыгнул за дверь. Пока Кстинья отчитывала Соска, егерь забежал домой, взял ружье, патронташ и огородами ушел к лесу. Решил заодно и обход сделать, и голову проветрить.

* * *

После Иванова ухода Катя еще долго лежала в постели. Некуда было торопиться и незачем. Она снова и снова вспоминала прошедшую ночь. От этих воспоминаний ей вдруг становилось жарко, так жарко, что, казалось, вот-вот на голове зашипят и свернутся волосы. И Иван представлялся ей жарким, обжигающим. Катя сбрасывала с себя одеяло... Но проходила минута-другая, и появлялась тревога, начинало казаться, что произошло непоправимое и вся ее жизнь с нынешней ночи будет другой. Какой она будет, эта другая жизнь, – Катя не могла себе представить, неизвестность тревожила ее. Зато прежняя жизнь представлялась теперь такой милой, такой вдруг далекой, что делалось грустно. Она опять закутывалась в одеяло и плакала...

Уже рассветало, когда Катя поднялась. Накинув на плечи шубу, она под села к окну и стала глядеть на улицу.

За низенькой горкой небо сделалось розовым и мутным от печных дымов, которые поднимались столбами и расплывались в вышине. Туда, к горке, на ферму, летели со школы стайками голуби, а из-за Катиного дома, из леса тянулись хмурые вороны и длиннохвостые сороки. Кое-где с деревьев и проводов стал осыпаться иней. На ветках он висел лохмотьями, а на проводах белой изоляцией...

Катя видела все это, понимала, но жила еще прошлой ночью, пока еще никак не связывала себя с зарождающимся днем.

Вот на куст рябины, что растет в палисаднике прямо под окном, прилетела синица. Она деловито осмотрела трещины в коре, потом вспорхнула на оранжевую кисть и принялась долбить мерзлую ягоду... Из-под застрехи выпорхнул воробей и уселся на самый высокий колышек изгороди. Оглядевшись, он нахохлился и стал похож на серый пуховый комочек. Воробей долго чистил и укладывал перья, потом слетел к черневшей на снегу кучке мусора...

Катя вглядывалась в эти неприметные движения, думала о прошедшей ночи и долго не могла себе ясно представить, чем же все это связано с ней, с Катей? И вдруг поняла: с нынешнего дня этот мир должен стать ее миром. Ее дымы, ее засыпанные снегом избы, ее синица, ее воробей... Она должна привыкнуть к ним и считать их своими. На всю жизнь. А то, о чем до нынешней ночи думала, к чему мечтала вернуться: другие дома, другие люди, другой уклад, – все это должно остаться за нынешней ночью, как осталось за ней ее девичество...

Катю пугала эта мысль, пугало и то, что все должно решиться не сегодня-завтра и решить должна она сама.

Катя оделась, позавтракала и стала собираться в библиотеку. Ей не хотелось оставаться одной. В библиотеку, несмотря на праздничный день, обязательно придут ребятишки. Она постарается удержать их около себя, и ей будет легче. Потом придет Иван, и тогда...

Катя вышла на улицу. Постояла на крыльце, привыкая к свету. Исчезла деловая синица. И вороны пролетели, и голуби. Только воробей по-прежнему копался в мусоре, то и дело, поднимая голову с набитым вокруг клюва ободком грязи. Потом и он вспорхнул на тесовую крышу, уселся на то место, где снег сполз. Воробей нахохлился и притих на слабом солнцегреве.

* * *

До обеда Павел Кузьмич пробыл на ферме. Переводили молодняк в утепленное помещение. Часу во втором заехал домой. Румянка вела себя беспокойно: дула ноздри, жалась в угол. Глаз да глаз нужен.

Управившись по хозяйству и пообедав, Павел Кузьмич опять поехал на ферму.

Но в конце улицы из-за сугробов выкатилась Кстинья и, утвердивши стоптанные валенки посреди дороги, раскинула руки, как пугало огородное:

– Стой! Стой, тебе говорю!

– Садись. Куда тебя?

Павел Кузьмич придержал лошадь. Но Кстинья и слушать не хотела.

– Это что же теперь – управы нет? Советская власть кончилась? Я до самого дойду! – Кстинья ткнула пальцем вверх.

До кого до самого – не понятно: до председателя? до прокурора? или до бога?..

– Ну, вот что... Ты мне толком вразуми. Что у тебя стряслось?

– Вот ты партийный, вот ты голова на бригаде – ты и рассуди!

Кстинья потянула вожжу, правя лошадь к своему дому.

– То прибаутками, то проделками разными на все село ославил... Видит бог – терпела! Разорил, супостат... разори-ил!

«Тугушев, – догадался, наконец, Павел Кузьмич. – Что же это он успел вытворить?»

У дверей дровяного сарайчика Волковых лежал издохший пуховый козел.

– Кормилец, разнадеженька, – запричитала Кстинья, опустила на колени и погладила козлу бок. – Оставил, изверг, без платочка пухового...

У кормильца были открыты глаза, желтые, с черными и узкими, как щели в глиняных копилках, зрачками. В снегу промята глубокая тропа: видно, прошли вокруг козла соседки, окрестные старухи, зеваки-мальцы...

– Как это его угораздило? – спросил Павел Кузьмич.

– Угораздило...

Тут только бригадир заметил рядом с козлом след трактора «Беларусь», уже затоптанный прохожими.

– Ну, вот что... Сейчас ветеринара привезу, узаконим. Я с этого сволотного семь шкур спущу. Тьфу, подлец какой.

– Фершела! Фершела! – грозно требовала Кстинья, стараясь поспеть за отъезжающим бригадиром.

– Беда, беда с этим Иваном Тугушевым, – думал Павел Кузьмич. – До армии старухе Булаевой покоя не давал, то на танцы в клуб ее приглашал, то частушки под ее окном пел. Ведь надо ж выдумать:

*Пошла плясать,
Юбку забулавила.
Полюбила гармониста
Бабушка Булаева!*

Прежде чем разыскивать ветеринара, Павел Кузьмич заехал к силосному кургану, где Иван отгребал трактором снег, и подозвал его к себе.

– Ты что же, подлец, с Кстиньным козлом сделал? У тебя голова на плечах есть? Есть или нет?

– Какой козел, Павел Кузьмич? – удивился Иван.

– Ты зачем у нее козла сегодня задавил?

– Не давил, Павел Кузьмич, слово даю...

– Там твой след, сам видел!

– Не давил, – Иван опять хотел поклясться, но вспомнил, как утром напротив дома Волковых что-то метнулось из-под трактора, и осекся. – Если только задним колесом... Но ведь в правилах сказано... не виноват я.

– Я покажу тебе правила! Ты у меня походишь с вилами! – пригрозил Павел Кузьмич.

«Вот и разбери их, – думал он, отправляясь за врачом. – Вроде и не врет Иван. Может, Кстинья сама недоглядела, обкормила чем-нибудь, а теперь ищет виноватых...»

Ветеринара он нашел во второй бригаде и сразу же повез его на место происшествия.

Врач долго ощупывал козла, потом вскрыл, покопался у него внутри. Затем отошел, вытер руки снегом и сказал:

– Не виноват Иван. Разрыв сердца. Застоялся у тебя козел, Кстинья. Прогуливать надо было. Может, трактора испугался, может, чего еще...

– Не виноват! Не виноват! – взывала Кстинья и начала причитать над распотрошенным козлом.

– Ну вот что... Ты не убивайся. Этим не поможешь, – посоветовал Павел Кузьмич.

Бригадир и ветеринар уехали.

К Кстинье на шум опять сбежались бабы. Окружили ее, горестно покачивали головами и тихо, как на похоронах, переговаривались между собой:

- Сажать за такое надо.
- Из поганого ружья стрелять, а не сажать. До разору дошел. То частушки, то припевочки... На маскараде в клубе пел про Кстинью. Сама слыхала:

*Дом в Кувишиновке горит,
всяк тушить его бежит:
кто со шлангом, кто с насосом,
а Кустинья с длинным носом!*

- Я на Кстиньином месте глаза бы ему выцарапала! Сам на себя поглядел бы, красавец, – нос-то у самого задран, аж мозги в ноздри видно.
- А еще за библиотекаршей ухлыстывает, жениться собрался.
- Кто это сказал? – насторожилась при этих словах Кстинья.
- Сама видела, – ответила только что говорившая баба. – Поутру нынче, как сгибень, от нее тащился. А дома, брат его, Анатолий, сказывал, прямо с порога заявил – женюсь!
- Ну, я ему присватаю! – пригрозила Кстинья, подобрала подол и метнулась в дом.

* * *

Константин бродил по светлым березовым колкам, осматривал свои уголья. Дважды поднимал зайца, но оба раза промахнулся. К обеду повернул домой, намереваясь по дороге заглянуть в овраг, где у Пудова родника жил осиротевший осенью лосенок.

Овражек был неглубокий, располагался между двумя буграми. В верхове он расходился на два коротких пасынка. Взлобок между пасынками курчавился густым низкорослым дубняком. Издали все это очень напоминало одно укромное место на бабьем теле, за что и получил лесок игривое и озорное название – Кунья дубровочка.

Константин часто навещал лосенка, особенно присматривал по субботам и воскресеньям. В эти дни появляются чаще браконьеры. Доверчивого и глупого лосенка они могли застрелить без труда. Он подпускал к себе человека шагов на двадцать. Да и ходил он только по одной тропе, протоптанной в снегу метровой толщины, от копны до копны и к роднику. Даже напуганный, он не убежал бы далеко по такому глубокому снегу.

Константин представлял, как лосенок, завидев его, поднимется с подтопанного сена на свои длинные ноги-ходули, совсем по-телячьи прогнет спину, потянется и не спеша отойдет. Будет стоять шагах в двадцати и с любопытством наблюдать, как Константин расчистит заваленный снегом родник, подгребет разметанное сено...

До Куньей дубровочки было еще далеко, места, где жил лосенок, не разглядеть, но егеря забеспокоился. По снежной целине к оврагу тянулся глубокий санный след. Проехали туда и обратно. След был совсем недавний, скорее всего ночной.

Константин почти бежал. След привел его прямо к роднику. Лосенка не было. И следов его куда-то в сторону от тропы тоже не нашел Константин. Однако и крови на месте преступления он не обнаружил. По человеческим следам егеря понял, что работали двое. Залегли по обеим сторонам тропы метрах в пятнадцати. Потом эти двое сошлись к тропе, и на том месте, где они сошлись, были заметны следы схватки с лосенком: вальница в снегу от боков теленка, клочки его бурой шерсти. Судя по всему, пойманного лосенка навалили тут же на сани и увезли.

Одного не мог понять Константин – как осилили двое поймать и уложить лосенка. Как ни молод был зверь, вряд ли двое таких, как сам егеря, мужчин смогли бы его удержать. А Константин по силе был не из последних. Действовали же браконьеры умело, втихую. Стрелять было опасно: Кунья дубровочка недалеко от села, егеря живет в крайней улице – мог бы услышать.

Константин пошел по санному следу, надеясь узнать, куда он поведет. Но след привел к накатанной дороге, по которой к тому же успел только что пройти трактор с санным прицепом.

Расстроенный егерь направился домой.

* * *

– Ой, как у тебя холодно-то! – ужаснулась Кстинья, войдя в библиотеку, и с состраданием посмотрела на Катю; затем она вытянула губы трубочкой и дунула: – Фу-у! Глянь, глянь – аж дух видно!.. Миленькая, да как же ты день-деньской тут терпишь? В городе-то, небось, к теплу привыкла, садовенькая?.. Катерина Дмитриевна!

Катя поднялась ей навстречу:

– Здравствуйте, Кстинья Ивановна! Проходите, садитесь. Я сейчас, только в печку дров подброшу...

– Холодно-то, говорю, у тебя как...

– Ничего, сейчас натопим. Еще и жарко будет. Это за ночь так выстывает.

– Все равно холодно. Куда так... В городе, чай, как в бане, в библиотеке-то, сидишь в одном халатике, а тут хоть тулуп надевай.

– Ничего, Кстинья Ивановна, весной достроят нам новую библиотеку, не хуже городской будет.

Кстинья при этих словах руками всплеснула.

– Скажешь тоже – весной! Жди-ка морковкина заговенья! Эт тебе не город, чтоб тятляп, и готово. Тут про хороводятся еще года два. Вон Дворец культуры пять лет строили. И то, слава тебе, прошлой весной грачи по налетели – довели до конца, а то и теперь бы Дворец-то пустоглазый стоял...

Катя прикрыла печку и удивленно посмотрела на Кстинью:

– Какие грачи?

– Да эти, черные, строители...

Катя засмеялась. Продолжая улыбаться, она подошла к столу, у которого сидела Кстинья, порылась в картотеке, спросила:

– Итак, что же мы прочитали?

– Ах, батюшки, я и забыла, – Кстинья зашуршала газетами, в которых принесла две книги. – Вот, – подала она одну, а вторую, плюнув на матерчатый переплет, стала тереть рукавом и смущенно при этом оправдываться: – Ты уж прости меня, недоглядела... Вот капнула чем-то... Сейчас вытру.

– Да что вы, – остановила ее Катя, – ничего страшного – маленькое пятнышко, переплет не пострадал.

– Да разве у нас чего ухранишь! Это в городе – шкаф тебе книжный в доме, и складень зеркальный, и всякая роскошь. А у нас...

Кстинья горестно вздохнула.

– Ну как, понравились эти книги? – спросила Катя.

– Понравились, понравились, миленькая. Эта вот про старинную жизнь-то, – хорошая. Вот ведь как люди жили! Только Настасьюшку жалко – померла...

– Тогда я вам продолжение дам, – обрадовалась Катя, – «На горах» называется.

– Это что же – про тех же самых людей?

– Да, про Потапа Максимыча, его семью и других.

– Давай, давай. Как они там, узнать.

Катя подала два черных тома.

– А вторая книга понравилась?

– Что ты! Еще больше! Про любовь вся. Он летчик, а она – учительница. В городе живут. В конце квартиру им дают, дочка у них родится... Прямо душа рада читать. Я, грешным делом, тебя все вспоминала – больно уж учительница-то на тебя похожа: ласковая да пригожая такая... И у нашей Катерины, думаю, в городе кто-то есть. Летчик какой али инженер. Вспорхнет, думаю, наша Катерина через годок, да и улетит к своему соколу...

Катя, слушая Кстинью, покраснелась, хотела что-то сказать, но Кстинья продолжала рассуждать:

– Да ты не красней, садовая. Вопрос-то жизненный. Чай, не тут жизнь сидеть. Тут тебе пары под стать днем с огнем не сыщешь. Чуть с головой – так он в институт да техникум едет. А и без головы – в город, на завод. По одному парню на улицу осталось, да и в тех толков столько. Вот хоть нашенского возьми – Тугушева. Знай одно – зубоскалит, знай одно... Винишком стал зашибаться, к Соску наведываться. А это к добру не приведет. Нынче вон козла у меня задавил. Ладно, свои люди, переживем. А как завтра человека задавит? Тюрьма! Вот и свяжись с таким... Не уж, это нам, проклятым, со своими мучителями тут доживать. А у вас иная статья. Вы как в этой книжке должны жить, а не тут в коровьем дерьме подолы хлюстать...

Катя слушала и, не отрываясь, глядела на вспыхивающую рамку печной дверцы.

Кстинья тоже скорбно замолчала.

– Может, еще какую-нибудь книгу возьмете? – спросила Катя чуть погодя.

– Ой, нет. Эти кабы осилить. Совсем времени нет. То по хозяйству, то с самим возишься... Это ведь не в городе – отработал смену и читай. Тут с утра до ночи юлой. Ой-ой... Кстинья посмотрела на часы и засуетилась:

– Вот и опять: дело к обеду, а там не кормлено, не поено все. Бежать, бежать надо... Ну, миленькая, жалай к нам. Телевизор поглядим, потолкуем.

– До свиданья, – сказала Катя. – Зайду как-нибудь.

Кстинья, вильнув юбками, скрылась за дверью.

Катя подошла к печке, прислонилась и задумалась. Вспомнился библиотечный техникум, преподаватель Евгений Яковлевич, который был влюблен в нее и который пишет ей письма...

* * *

Разобравшись с Кстиньиним козлом, Павел Кузьмич заехал к Соску. Он решил попросить старика приглядеть за Румянкой, пока сам будет на ферме.

– Что это тебя Кстинья обротала? – любопытствовал Сосок, когда Павел Кузьмич вошел к нему в избу. – Я гляжу в окно: Кстинья к тебе подбежала... Ну, думаю, Кузьмичу теперь только уши затыкать...

– Козел у нее подох, – сказал бригадир, – а она виноватых ищет.

– И подохнет! Дивлюсь, как это у ней Константин до сих пор выживает! Такая в гроб не только козла вгонит.

– Ведьма, а не баба, – согласился Павел Кузьмич.

– А кто же, как не ведьма, – таким мужиком правит! Поутру Константина вшаею по улице гнала. Да уж, она все равно, что гипнозом на Константина действует.

– Еще бы таким носом не действовать!

Павел Кузьмич засмеялся:

– Да не носом! Скажешь тоже... Гипноз – это сила такая. Захочет он и усыпит тебя, захочет – вверх ногами поставит или вообще непотребщину делать заставит...

– Э-э, – разочарованно протянул Сосок, – тогда Кстинья слаба в этом... как его?

– Гипнозе, – подсказал Павел Кузьмич.

– Да, гипнозе. Была бы она сильна, она бы с таким носом не ходила. Вот я расскажу тебе случай, на моем веку было, вот это гипноз!..

Давно, правда, было. Году в пятнадцатом. Гафон Маркыч Волынкин женил сына Ефремку, ровесника моего. Богатый был мужик – Гафон Маркыч! На свадьбу всех прохожих и проезжих с улицы зазывали. Столы по всему двору кочергой стояли. А уж на столах – чего душа примет! Я у Ефремки тогда дружкой был... Ну да свадьба-то свадьбой, ничего дивного, и побогаче играли. Только зазвали с улицы двоих пришлых. Один молодой, статный, а другой пожилой, морщавый, вроде меня теперь. Зазвали их, а они сразу друг дружку и невзлюбили. Молодой, видишь, на невесту заглядывал, а старый на него за это шикал.

Так словом по слову, лаптем по столу – повздорили! Тут молодой – прыг на лавку и ну кричать: «Люди добрые, глянь, какой краса сидит!» А сам в морщавого пальцем тычет. Глядь, а у того нос с локоть вытянулся и посинел! Да... Кто в смех, кто крестится, а морщавый подзвал к себе Марфу-хозяйку и говорит: «Дай-ка мне, хлебосольная душа, солидольцу». Марфа побежала, принесла на лопухе. Он взял на палец чуточку, сперва нос помазал – он, нос-то, и унормился; потом ладони насолидолил... Да как хлопнет в ладоши! Молодой так и прилип задницей к стене... к избяной стене! Висит и земли ногами не достает, будто его за портки на гвоздь повесили. Потеха! Да... Тут молодой и взмолился: «Прости, говорит, нашла коса на камень». И плачет. Нет-нет – упросил. Морщавый его в шею со двора. А Гафону Маркычу шепчет: «Гляди, говорит, сглазит он молодуху». И ушел, откуда пришел...

– Вот такие дела. А то – Кстинья...

– Мало ли каких чудес на свете, – понимающе поддакнул Павел Кузьмич. – Я вот недавно в кино видел, как гипнотизер девку, ее Кабирией звать, заставлял цветы на сцене рвать, а цветов нет; с женихом миловаться, а жених тот не существует...

– Кино – баловство, – перебил его Сосок. – Да и не знай, где это было. Зачем далеко-то ходить, у нас в Багусях жил такой чудесник – Захар Пудов. Ты-то его не помнишь, а вот покойный Михал Иваныч коров пас, а я в подпасках бегал, мальцом еще был. Да... Пригнали мы как-то раз стадо на полдник: скотина отдыхает, мы тоже присели на бугорке у Сосенок, девок с подоюнками ждем. Девки уж по займищам идут, ведрами на солнышке сверкают. Тут он и вышел с вязанкой из Сосенок, Захар-то Пудов. Ох, и дюжий был! Сутулый, руки до колен... Побеседовали они с Михал Иванычем о том о сём, покурили, а потом Захар и говорит ему с озорством: «Хошь, Мишатка, девки сейчас подолы задирать станут?» А он: «Это с какой же стати, говорит, на них така строка нападет?» Не верит. А Захар: «Гляди», – говорит. Глядим, а девки взаправду стали подолы задирать! Задирают, как в воду заходят, и вроде бы визжат от студенной воды. Уж срам весь наружу, а они все выше задирают! И смех и грех. Да... Потом мало-помалу опустили юбки и подолы оправляют, будто на берег вышли. И идут к нам как ни в чем не бывало... А Захар взвалил вязанку на спину да и пошел себе домой. Вот как!

– Тебе, Егор Петрович, по молодости надо было в писатели подаваться. Ну и горазд же ты сочинения плести! – удивился бригадир. – Тебя, ей-богу, не переслушаешь.

– Зачем в писатели? Я и так на жизнь не в обиде, – отмахнулся Сосок. – А вот я тебе еще историю расскажу. Вот это история! Целый театр!..

– Нет, на сегодня хватит, – властно сказал Павел Кузьмич и встал. – Я ведь к тебе по делу, да и заболтался. Ты бы пошел у меня до вечера посидел, Егор Петрович. За коровой приглядел, я-то на ферму сейчас поеду.

– Ну что ж, – согласился старик, – ну что ж, пригляжу. А сам, стало быть, за колхозными глядеть будешь?..

Павел Кузьмич дал Соску ключ от дома и вышел во двор. Сосок, провожая бригадира, стоял в проеме сенной двери и удивлялся:

– Вот видишь, какой уклад настал. Свою корову человек бросает, а за колхозными идет глядеть!

– Их там больше, Егор Петрович, поэтому за ними и досмотра больше, – шутил Павел Кузьмич, усаживаясь в санки.

– А я вот про свою старуху вспомнил. Когда колхоз начали сколачивать, мы корову свою на общий баз отвели. Всего-то у нас и было богатства. Да-а... И стал я замечать, что старуха моя после ужина завернет в подол кусок хлеба и куда-то украдкой уходит. Я, стало быть, подумал: уж не прикармливает ли она хахалю? Тогда много всяких пряталось по подловкам; из раскулаченных, из высланных, которые в бегах были. Да-а... Выследил ее. А она свою корову ходила на баз прикармливала. Сунет ей хлеба и гладит по морде, слова ласковые говорит... В колхозе кормецу не хватало, скотина опала, глядеть жалко. Вот она и прикармливала ее.

– Есть такие люди, – подтвердил бригадир, – у нас иные доярки с телятишками, как с людьми, разговаривают.

– Это правильно. Только моя притча не о том, – возразил Сосок. – Старуха моя не из-за любви только корову подкармливала. Не верили мы тогда в колхоз, думали, вот- вот развалится и скотину опять по дворам разгонят. Вот и сохраняла старуха для себя нашу корову. А теперь, видишь, какой уклад настал: человек свою корову с рук на руки передает, а сам за колхозными идет глядеть...

– И то верно, – согласился Павел Кузьмич и тронул вожжи.

* * *

Иван Тугушев не нашел Катю дома, но тут же узнал от ребяташек, что она в библиотеке, и как был в рабочей одежде – направился туда.

По дороге он опять, уже в который раз за день, вспомнил прошедшую ночь. И опять почувствовал ему полыньковый запах Катиных сухих волос, опять будто захмелел он – хоть колесом катись от восторга!

Катя была первой его женщиной. Нет, подружки были и раньше, и с ними он не только звездочки считал да соловьев слушал, но до Ивана они успели побывать с кем-то; Катя же теперь только его, его, и ничья больше.

Вот она какая, новогодняя ночка! А он-то думал, врали прежние подружки, оправдываясь – как одна, говорили: в Новый год не устояла, голова закружилась... И всякое такое. Может, которая и врала, но правда в этом есть. Иначе как же понять Катю: до вчерашнего вечера она поцеловать-то себя разрешала лишь по большим праздникам, и вдруг?..

Это «вдруг» опять возвращало мысли Ивана в маленький Катин домик, к ее неожиданно пересохшим и зашелушившимся губам... От воспоминаний брал радостный озноб. Ах ты, ночка-ноченька!..

Одно тревожило Ивана: что-то Катя таила в себе, какую-то думу. Эта затаенная дума беспокоила ее, а Ивану мешала поверить до конца в свое счастье. Может, она не верит в его серьезность? Бабы, небось, чего только не наговорили. Может, думает, что для него это забава?..

Иван вошел в библиотеку, впусив клубы холода, будто катнул от порога рулон серой войлочной «дорожки».

– А я к тебе заходил. Потом прямо сюда, даже не переодевался. Разве ты нынче работаешь?

Катя сидела на диване. Когда ноги обдало холодом, она подобрала их под себя.

– Дома скучно одной.

Иван подошел к дивану и опустился рядом на колени, взял из рук Кати книгу, тихо спросил:

– Без меня скучала?

Катя не ответила.

– И я весь день к тебе торопился. – Иван взял Катину руку и хотел поцеловать, но Катя неожиданно для себя отняла ее, будто хотела втянуть в рукав. – Что с тобой? – спросил Иван.

– Не знаю. Я чего-то боюсь...

– Ты думаешь, я все нарочно тебе говорил? Катя?.. Я уже и домашних предупредил о свадьбе. Они только рады. Я бы и с Павлом Кузьмичом сегодня же поговорил, да он больно злой был. Завтра обязательно поговорю:

– Не надо пока, Иван; дай я немножко с мыслями соберусь. Я, честное слово, ничего теперь не соображаю.

– А что тут соображать? Я тебя люблю, ты... А ты меня любишь?

Катя промолчала.

– Если хочешь – я нынче же перейду к тебе. Хочешь?

– Иван, не мучай меня, пожалуйста. У меня голова кругом идет. – Катя встала с дивана, подошла к печке и, присев на корточки, стала шурудить в топке маленькой кочережкой.

Иван остался стоять на коленях у дивана. Раскрыл Катину книгу, полистал, пробегая глазами по страницам. Это был роман Хемингуэя «Острова в океане».

– Может, ты боишься связаться с таким неучем? Так я в нынешнем году в техникум поступлю, чтоб тебе не стыдно было на люди со мной показываться...

– Иван, перестань говорить глупости, – обиделась Катя.

– Тогда в чем же дело?

– Иван, давай куда-нибудь уедем, – неожиданно предложила Катя.

– Да что вы, правда, все, – удивился Иван, – чуть что – сразу поехали куда-нибудь! Мы что, провинились тут перед кем, чтоб бежать? Может, тебе у нас дико? Так это без привычки. У нас тут хорошо, ты привыкнешь, полюбишь... Вот он, – Иван указал пальцем в книгу, – он море полюбил, а ты читала и тоже, небось, любила. Правда? Я на море служил, видал всю эту красоту. Ничего не скажешь. Только мне каждую ночь рожь снилась: высокая, по грудь, и тоже вся волной расходилась... Если бы у нас был писатель, который написал бы про рожь, как этот про море, ты бы тоже читала и любила. Я тебе еще все покажу, ты полюбишь, обязательно полюбишь...

– Я понимаю, я понимаю, – согласно шептала Катя.

Синие языки пламени взвивались над догорающими углями и отражались тенями на ее лице.

Иван, было, поднялся с колен и направился к Кате, но в это время в библиотеку горохом вкатилась гурьба ребятишек. Он только успел спросить, можно ли прийти вечером.

– Лучше завтра, – виновато попросила Катя.

На дворе угадывались светлые зимние сумерки. Вроде бы по-дневному был прозрачен воздух, но уже стал расползаться, округляться меж дальних бугров сизый треугольник Куньей дубровочки, пропал сверкавший в полдень окоем, не разглядеть уже, на какой высоте кончается земля и начинается небо.

Что происходит с Катей? Что за путы мешают ей шагнуть? Иван не знал, что и подумать. Может, у нее в городе парень? Может, и вправду всему причиной новогодняя ночь – она закружила Кате голову, а не любовь к Ивану? А теперь Катя корит себя за эту ночь и готовит тому, городскому парню, слова, какие Иван слышал от своих прежних подруг: в Новый год не устояла, голова закружилась, и все такое... Эх ты, ночка-ноченька...

Пока Иван дошел до своей улицы, в некоторых окнах уже зажглись огни. Домой Ивану идти не хотелось, там пришлось бы говорить со своими о свадьбе, а о ней пока на воде вилами писано.

Напротив бригадирова двора его встревоженно и радостно окликнул старик Сосок:

– Ванюша, иди, пособи скорее!

И Тугушев пошел на зов.

* * *

Когда Константин Волков вернулся из обхода домой, он сразу догадался, что и тут в его отсутствие что-то произошло. На кровать были брошены домашние Кстиньины одежды, у порога поврозь стояли ее повседневные валенки со вьевшейся в подъем мучной пылью... По всему видно – были срочные сборы.

Но долго гадать Константину не привелось. Тут же появилась и Кстинья: принаряжена для выхода, под мышкой – две толстые книги.

– Явился, колобродный! – начала она, но не в полную силу: видно, на ком-то отвела душу. – Ушел, и травонька не расти! А тут чуть не все хозяйство перевели, пошлешь теперь дочке пуховый платочек – дудки! Покупной сам ей повезешь, покупные, они с козиной да с бумажной ниткой – я не повезу такой перед дочкой стыдиться...

Зная нрав жены, Константин переждал ее выпад, не перечая, потом узнал, наконец, о гибели козла и – опять же зная ее характер, – чтобы отвести огонь от себя, пожаловался:

– И до лосенка кто-то доздебрился... Прихожу, а там только санный след оставили...

– Да они что же, по миру нас пустить намерились?! – взвилась Кстинья. – А ну, веди на место преступления! Я этих идолов из-под снега выкопаю, от меня далеко не спрячешься...

Константину очень не хотелось скандалить с женой на ночь глядя, да и в ее прозорливость и сообразительность он верил. И егерь повел свою по-выходному одетую жену к оврагу, в котором зимовал лосенок. Правда, со стороны поглядеть на них, так не Константин вел Кстинью, а она его. Женщина то и дело забегала вперед, ловко втыкая в глубокий снег свои новые чесанки в блестящих галошах.

Константин же шел неровно, как будто верил и не верил в успех этого похода. И когда он не верил, кожаные задники его подшитых валенок, как два черных ногтя, царапали и грудили снег, будто старались удержать егеря...

В овраге Кстинья долго ходила вокруг следов, оставленных браконьерами, и слышны были ее «супостаты», «изуиты» да почти нежные причитания: миленький, садовенький, резвенький – это про лосенка.

Константин стоял чуть в сторонке, не мешал и все думал-гадал, кто бы это мог так обойтись с беззащитным теленком, и не мог ничего придумать.

– Ах ты толстолапый! Ах ты, оборотень, – начала вдруг кого-то поминать Кстинья. – И ведь глядит на тебя, ущербный, и глаза у него не мерзнут!.. Ну, подожди, я подведу тебя под монастырь, ты у меня не сразу проморгаешься...

– Про кого это ты? – удивился Константин.

– А кто из твоих дружков табак в ноздри сует?

– Ну, Живайкин... лесник...

– Вот тебе и лесник! – передразнила Кстинья. – Он и завалил лосенка. Вон, кругом табачищем сморкался – как гусь нагадил!

«Вот камфара!» – уважительно подумал егерь, но про себя все же усомнился в Кстиньином доводе, потому что никогда раньше не замечал он за лесником такой алчности.

– Счас же, без суда и следствия, пойду, глаза выткну! – пригрозила Кстинья и устремилась из оврага.

– А как не он? – поспешил за ней Константин. – Обидишь человека ни за что ни про что.

– Это чей же тогда след такой? На сто верст кругом такого толстолапого не встретишь!

Егерь поспешал за женой и на ходу придумывал, как бы отговорить от самосуда. Не верилось ему. К тому же свой человек Живайкин. Нельзя же вот так, с наскока... Уже перед самыми огородами предложил Кстинье:

– Может, это, сперва к нему Соска подослать? Он старик дотошный, разнюхает. А потом возьмем свидетелей и нагрянем...

Кстинья согласилась. Ей такой хитрый ход пришелся по душе.

* * *

Сосок с Иваном приняли телка, дали Румянке облизать его, а потом на старом одеяле, служившем в доме бригадира половиком, перенесли прибыль в прихожую. Иван сбегал за охапкой соломы и растряс ее в углу. Тихо переговариваясь, акушеры вымыли руки и празднично уселись полюбоваться бланжевым, сплошь в блестящих зализах, лобастым бычком. В прихожей пахло соломой с мороза и новорожденным.

– Ну, а ты когда? – Сосок подтолкнул Ивана локтем и кивнул на телка. – Ты когда на крестины пригласишь?..

Иван вяло отмахнулся и вздохнул.

– Когда рак на горе свистнет, дед Егор.

– Что так? – насторожился Сосок. – А я ныне утром решил: ну, гульнем скоро у Ванюшки на свадьбе! Видал я, как ты от Катерины шел. Еще и пошутковал про себя, глядя, как ты ноги по снегу еле тащишь: ну, себе думаю, укатали сивку крутые горки! Так, что ль, я говорю?..

– Нет, дед Егор, это я, чтоб народ на девку зря не наговаривал, тропу к ее дому делал. Пусть все видят, что там не воровано.

– А народ – он и не дурак, Ванюшка. Все так и говорят: свадьба скоро у Тугушевых.

– Я тоже думал – скоро, да не получается...

Иван рассказал старику, как вчера еще, да что вчера – сегодня утром, Катя была на все согласна, он уже переговорил со своими о свадьбе, все шло как на подшипниках – и вдруг!.. Ничего не понятно. Что-то с ней творится такое...

Сосок слушал вначале с мудровой улыбкой и поглядывал на Ивана, как на дитя малое. Чего, мол, тут дивного? Эх, Ванюша. Ванюша, зелен ты еще...

Но дальше – больше старик посерьезнел, задумался. А когда Иван, смущаясь и расстраиваясь, высказался до конца, печально заключил: Они ведь народ такой, с чудинкой, как клубок запутанный. Сами не знают, где начало, где конец... А мы тоже без понятия к ним подходим – схватил и ну тянуть, торопить – думаем, сразу распутаем. А глядь – с нутрем вытягивам. Да... Подожди немножко, не горячись. Пусть она в себе порядок наведет.

– Так, пожалуй, пока она в себе порядок наводит, во мне все перепутается. У меня что, думаешь: как обмотка на катушке – виток к витку, что ли?..

– Не горячись, не горячись. Ты мужик. Вот я тебе одну историю расскажу...

Но рассказать Соску не дали.

В сенях затопали, щелкнули выключателем, заскребли по валенкам веником.

В дверях появился Константин Волков, красный с мороза, из-под заломленной на затылок шапки торчали потные волосы. За ним в дверном проеме проглянула Кстинья. Но она еще не успела обмести свои чесанки и вытряхнуть снег из галош. Егерь вошел один.

– Егор Петров, а мы тебя ищем, к тебе заходили... О, да тут прибыль! Силен зверь! Весь в Румянку. Лоб-то какой... Татьяну Вязову можно будет между рогов посадить... А ты что же, Иван, правда, что ли, у нас козла задавил?

Иван обиделся:

– Да что вы пристали! Не давил я никакого козла. Сам он у вас подох. Врач же засвидетельствовал...

– Ты, Константин, болонишь, как припугнутый, – вмешался Сосок. – То теленок, то козел!..

– Ну и слаба богу, что не давил, – с облегчением вздохнул Константин и угостил Ивана и Соску сигаретами. – А то ведь не уняли бы камфару...

Вошла Кстинья. Нос белый, чужой, лицо красное; вся в праздничном. Не взглянув даже на Ивана – сразу Соску.

– Дело к тебе есть по секрету... – и поманила старика в сторонку. Что-то зашептала.

Но старик сразу же вернулся на свое место.

– Нет, Кстинья, тут дело общее. А как не он? Наговоришь сгоряча на человека, а как потом ему в глаза глядеть?

– Это как – не он? – возмутилась Кстинья. – У меня что, глаз нет? Я что, без головы?

– Да не верится что-то, – еще раз усомнился егерь. – Живайкин человек не алчный. И свой опять же...

– А ты молчи, тютя, – приказала Кстинья. – У тебя из-под носа тащат, а ты...

– Вы лучше толком растолкуйте, – предложил Сосок. – А Кузьмич явится, с ним еще посоветуемся.

Волковы подробно рассказали о пропаже лосенка, о следах на месте преступления и о своих догадках. Кстинья расписала все до мелочи, а егерь все удивлялся, не мог никак взять в толк, как двое могли сладить с сильным зверем. Причем явно без крови...

Сосок слушал внимательно и в конце рассказа вроде бы даже согласился с доводами Кстиньи.

– А ведь могло стать, Живайкин это набезобразничал. Больше некому... Тут история такая. В войну еще дело было. Да... Появились у нас в поле две лошади. Киргизки. С фронта, стало быть, убежали. И прибились у нас к двум ометам сена. Острожали на воле – ни подойти к ним, ни подъехать. Да и прибраться к рукам их некому было: одни бабенки остались. Да... А директором МТС в ту пору Грузин был. Мужик рачительный, хозяйственный. Как узнал он про лошадей прибудных, сразу собрал мужичков, какие были из заваливших, и в поле. Зимой дело было, снегу, как сейчас помню, в пояс. Приехали мы, а лошади к себе не подпускают и далеко не уходят. Пробили от омета к омету тропу и мечутся по ней туда- сюда. Но Грузин был хитрый, – велел из веревок петли делать, и концы держать. Сам пугнул лошадей, лошади в петли ногами, а Грузин кричит – вали! Мы так их и подсекли. Потом уж обротали. Вот какие дела были. Да... И вот какая тут заковырка, скажу я вам, – Живайкин с нами был! Он один и остался, кто помнит. Все другие перемерли. Он тогда с фронта по ранению пришел. Стало быть, некому больше так с лосенком схулиганить...

Константин уже ничего не мог возразить, в нерешительности глядел то на Кстинью, то на Соску, ждал решения. А Кстинья, ободренная рассказом старика, взвивалась на дыбы. Требовала тут же пойти к Живайкину и навести суд. Сосок уже не рад был, что рассказал давнюю историю, и еле-еле с помощью Константина уговорил Кстинью повременить с расправой. Он пообещал ей сегодня же сходить к Живайкину и поразведать все, а завтра утречком, чуть свет, доложить Кстинье.

Чтобы не гневить больше распаленную Кстинью, Сосок спешно засобирился домой. Ушли и Волковы, пеняя и коря друг друга.

Ивану Тугушеву было попутно с Соском. Он направлялся к Кате.

* * *

Короток зимний день.

Пока Павел Кузьмич разбирался с Кстиньей, пока заезжал домой, к Соску – стало смеркаться. Успел помимо фермы побывать лишь в ремонтной мастерской да в правлении. А когда передавал ребятишкам лошаденку, чтобы отогнали, уже затемнело. Да тут прибежал взбалмошный лесник Живайкин, от которого поначалу ничего толком нельзя было добиться. Они с дружкой вчера утащили из леса какого-то лосенка, чтобы подшутить над егерем. Поместили его в калду, а он выпрыгнул и бегаёт теперь по огородам. Еще кто-нибудь загубит. В конце концов, лесник попросил лошадь, чтобы отогнать верхом лосенка на место. Просил никому не говорить... Ох и балда мужик! Седой ведь...

Дома у себя Павел Кузьмич никого не застал. У порога, разметав на полу солому, стоял бланжевый лобастый теленок. Его мягкие, как размокшие обмылки, копытца скользили по крашеному полу, а он судорожно пытался устоять.

– О, да у нас прибыль! – обрадовался Павел Кузьмич и потрепал телка по ушам. Потом снял полушубок, валенки и устало присел к печке. А на улице стояла ясная январская ночь. Белый тонкорогий месяц, белые игольчатые звезды, слабые, но четкие тени на снегу. Кое- где эти тени нарушились желтыми пятнами света, падавшего из небольших заледенелых окон.

И ни единого движения.

Только кружила над Кувшиновкой какая- то ночная птица. Кружила бесшумно, как привидение. И видна была птице сразу вся улица – Сбившиеся в тесную и дружную кучку домишки. И, наверное, зябко было птице одной в вышине...

В село приехали цыгане



Сначала появился один цыган.

Он пришел в село Багуси теплым полднем девятого мая. Народ по случаю праздника, а также в честь окончания посевной был в лесу на маевке, поэтому никто не знал толком, откуда взялся этот цыган. То ли притопал пешком со стороны соседней Комаровки, то ли подвезла его со станции какая попутка...

Перед слабоватыми уже глазами старика Соска человек этот предстал неожиданно, как из земли вырос. А может, и не слабое зрение тому причиной было. Может, замечтался старик, сидя возле своей хибары на лавке, – и проглядел. Все могло быть. Старик он мечтательный, к тому же занимала его в тот момент куриная возня: поблизости несколько куриц купались в насыпи золы, вытраивали из своего пуха надоевших за зиму насекомых, а медно-рыжий кочет наскакивал то на одну, то на другую, орал и багровел гребешком пуще прежнего...

– Здравствуй, дед, до ста лет! – услышал вдруг Сосок веселый голос и поначалу опешил.

Перед ним стоял невысокий парень цыганистой наружности: черный, курчавый, с подстриженными усиками и то ли диковатыми, то

ли испуганными глазами. На парне была кожаная фуражка, серый пиджак с покоробленными лацканами, под ним красная нейлоновая рубашка, не застегнутый ворот которой удерживал галстук-удавка с медной бляшкой. Черные штаны были приспущены, ноги обуты в пропыленные хромовые сапоги гармошкой. На левом плече парня висел на лямках вещмешок, справа стоял у ног странно изогнутый чемодан.

– До ста не до ста, – медленно приходя в себя, ответил Сосок, – но и хворать не приведи бог, добрый человек. А ты кто же будешь такой?.. Садись, посиди.

– Цыган, дидуся. Цыган, тайлаз бимать! – присаживаясь, ответил странник, и старик уловил в его признании досаду, показалось, будто человек недоволен тем, что он цыган.

– Так-так... А я сперва подумал, ты армян. Строитель. Они к нам каждой весной приезжают кошары строить. Чуть завесняет – тут и были. Наш Ванюшка Тугушев их грачами зовет. Грачи, говорит, прилетели! А они, и правда, сидят у Кузьмича на бревнах, носы здоровые повесили – сущие грачи! Да... А то еще возьмет подснежниками назовет...

Сосок глянул на цыгана, чтобы узнать, как прихлсь ему чудачества Ивана Тугушева, и заметил, что пришлый не столько слушает его рассказ, сколько соображает о чем-то своем. Старик забеспокоился. Кто его знает, что на уме у этого цыгана. Может, он посыльный, а табор

где-нибудь неподалеку расположился. Этот поразнюхает, поразведает – и пошло воровство, Цыган, он ни руку нечистый...

– Цыган, говоришь? – переспросил Сосок.

– Цыган, дидуся. Обыкновенный цыган...

– А по имени, по фамилии как тебя звать?

– Иван Полуян, дидуся. Так и в паспорте написано – Иван Полуян, тайлаз бимать!

Говоря последние непонятные слова, пытан энергично вскинул руку с растопыренными пальцами прямо к дедову лицу. Тот даже отпрянул.

– Вот видишь ты! И звать совсем по-нашенски, – удивился дед. – А что это ты все тайлаз бимать да тайлаз бимать говоришь? Непонятно...

Цыган довольно усмехнулся. Озабоченности, которая насторожила Соска, на лице Полуяна поубавилось.

– Это по-нашему, по-цыгански, поговорка такая. Никак не отвыкну...

Иван Полуян привалился спиной к стене, достал из кармана сигареты и угостил деда. Сам стал внимательно, будто примериваясь к ней, разглядывать улицу. Сосок исподтишка попевал за его взглядом.

Улица тонула в майской зелени, почти из каждого палисадника выпирала через заборы белая черемуха, тесно ей было там, но заборы стояли крепко, и только запах черемухи пробивался сквозь них и майскую жару и разгуливал по улице.

– А что у тебя за чемодан такой чудной? – немного погодя полюбопытствовал Сосок. – Инструмент, что ли, какой? Цыган проворно, будто и ждал того, поднял чемодан на колени и раскрыл. На солнце засверкал перламутровой отделкой и блестящими металлическими уголками мехов аккордеон.

– Музыка, дидуся! Цыган без музыки – как без крыльев птица, тайлаз бимать!

Соска роскошный вид аккордеона очаровал, но он пересилил себя и сдался не сразу:

– А по мне: цыган – так должен быть гитарой.

– Это кто как может, дидуся! – азартно улыбнулся Полуян, а сам уже накиннул ремни на плечи и тронул пальцами клавиши.

*Ехал цыган на коне верхом,
Видит: девушка идет с ведром, —*

запел цыган высоким голосом, а сам тем временем подталкивал аккордеон коленями и смешно крутил головой.

*Поглядел: в ведре-то нет воды,
Значит, мне не миновать беды.
Ай, ну-ны, ну-ны, нуны-нуны...*

Допев песню до конца, он, не прерываясь, перевел на другую и затянул уже томно, со слезами в голосе:

*Так взгляни ж на меня
Хоть один только раз!
Ярче майского дня
Чудный блеск твоих глаз...*

Куры, испуганные музыкой, разбежались, петух отступал последний, грозно растопырив крылья, орал. Сосок поднял с земли палку и запустил в него, чтобы не мешал, а сам благоговейно затих, заслушался...

– Ну как, дидуся? – кончив петь, спросил цыган.

Но старик все еще сидел, не шевелясь. Потом согласился:

– Да, цыган без музыки не цыган... И плясать можешь?

– Могу! Хоть «цыганочку», хоть «русскую» – любую. Вот мог бы ты, дидуся, мне подыграть – я бы сбацал!

– Ух! – подхватил Сосок и, не поднимаясь с лавки, засучил ногами. – Огневой ты парень, должно!

– Как есть, тайлаз бимать!

– А что же ты, как блудная овца, один ходишь, хочу я знать? По мне: цыган – так должен быть в таборе...

Полуян осекся, потух, потом решительно заявил:

– Ушел я из табора! Насовсем ушел. Не могу больше!

– Что так? – опять насторожился дед. – Разругался, что ли?

– Жить хочу по-другому. По-людски! Совсем ушел...

– Ты, парень, не зарекайся. Горяч больно. Я вот слышал, вашего брата цыгана в городе норовили усадить. Домов задаром понастроили – живи не тужи! Так вы, бесшабашные головы, что наделали: полы повывломали, на кострах спалили, а потом и дома забросили – пошли опять странствовать! А местность ту городскую и поныне, слышь, Вуруй-городом зовут. Смех... Нет, парень, не для вас наш уклад. У нас работать надо, спину гнуть. А вы к этому не приучены... Вот и ты: помычешься, помычешься и опять – айда к своим! Гляди хоть полы-то не пали, совсем срамное дело. Да...

– Вот, тайлаз бимать! – обиделся цыган. – Не понял ты меня, дидуся... Я никакой работы не боюсь! Гляди на руки, – Полуян показал Соску жесткие ладони.

– Так-так... – Сосок задумался. – И куда же ты теперь путь держишь?

– К вам пришел. Колхоз у вас большой, работа найдется. И девка найдется. Есть у вас девки, дидуся?

– Ох, и горяч ты, должно! Ох, и горяч...

Цыган стал укладывать аккордеон, всем видом выказывая намерение продолжать путь. Застегнув замки ящика, он встал, подтянул штаны, отряхнулся, поправил воротник рубашки – и вроде бы сразу построился.

– А теперь скажи, дидуся, где ваш бригадир живет и к кому бы мне на квартиру устроиться? К старушке какой-нибудь.

– Бригадир наш вон живет. Видишь бревна? Его Кузьмичом зовут. Только ты напрасно горячишься, он теперь на маевке, и весь народ на маевке. А на постой у меня можно стать, места хватит. Опять же брать с тебя ничего не буду, как ты цыган...

– Нет, дидуся, ты уж меня к старухе какой-нибудь направь. Она где поштопать, где пострепать, и я ей в помощь. А два мужика... Что два мужика, тайлаз бимать!

– Ну, гляди, дело твое, насильно мил не будешь... – обиделся старик. – Пойдем, присоветую тебя Булаихе. У ней дочь в городе, чулан свободный.

Цыган подхватил вещи и пошел за стариком в дальний конец улицы Кувшиновки. Старуха Булаиха сначала и слушать не хотела. Цыгана? На беду? Чтобы потом всем миром корили? Нет!

– Цыган, он как полк – где живет, там не берет, – заверял старуху Сосок. – А потом – разуй глаза! – человека сразу видно, самостоятельный. Работать пришел, жить по-людски. Ты руки ей, руки покажи, – подталкивал он Полуяна.

– А может, он их на воровстве и натрудил? – не отступала Булаиха. – Цыган – цыган и есть.

– Я тебе паспорт сдам, бабуся, в домовую книгу меня пропишешь. Куда я денусь? – Полуян достал из кармана паспорт, протянул Булаихе.

Старуху это немного успокоило.

– А потом: совсем непьющий, – добавил старик и украдкой от Булаихи подморгнул Ивану. – Клад по нынешним временам.

– Все вы непьющие. Тебе, старому, поднеси, и то руки не отведешь. Непьющие...

– Цыган редко пьет, бабуся, – поклялся Полуян. – Совсем не пьет! Только на свадьбе. Где ты видала, чтоб цыган пьяный?..

Старуха заколебалась.

– Разве что цыган, потому не пьет...

На том и сдалась.

Сосок убрался восвояси, а она повела цыгана в чулан, вход в который был отдельный, прямо из сеней. В чулане, длинной узкой комнатенке, стояла железная койка, накрытая стареньким застиранным тряпьем, и колченогий столик. Окошко было одно, рублили его, видимо, много позже постройки дома, но Булаиха успела так толсто заделать окно замазкой, что от четырех когда-то квадратных стекол остались круглые глазки, вроде иллюминаторов. Побелка в чулане была свежей и еще сушила воздух.

– К пасхе белила, – похвалилась Булаиха. – Тебе, чумазому, небось, и не снилась такая чистота. Привыкли в своих шалашах валяться, на чем попало. Ныне же в баню! Иначе к постели не допущу. А пока гнездись тут со своим тряпьем.

Старуха ушла.

Цыган поставил ящик с музыкой под столик, потом выпотрошил на койку вещмешок. Там был аккуратно свернутый черный костюм, еще довольно свежий, две чистые рубашки, коричневые полуботинки, галстук, носки и прочая мелочь. Перебрав все, Полуян сложил вещи опять в мешок, оставил только полуботинки, костюм и рубашку. Потом вышел во двор, соорудил из палки и куска проволоки вешалку. Вернувшись, приладил на нее одежду и повесил на торчавший в стене гвоздь. Довольный сел на койку и чему-то улыбнулся... Сидел так минут пять.

Потом пружинисто вскочил и направился к хозяйке. Войдя в горницу, быстро и внимательно огляделся. Комната была чуть больше чулана, в два окна, в углу под бронзовым распятым стол, стул, рядом сундук под лохматым от нашитых лоскутков покрывалом: за печкой деревянная кровать да точеный посудный шкаф у самого порога.

– Ай, бабуся! – сверкнул глазами цыган. – Как барыня живешь, тайлаз бимать! Починить, отремонтировать что-нибудь требуется? Это мы с ходу, бабуся!

– Столоваться заодно решим, – скорее утверждая, чем спрашивая, начала Булаиха. – Себе я стряпала в горшке, да теперь он мал будет, коль работать думаешь. Кастрюлю придется чинить, свищ в ней.

Старуха полезла под кровать и достала оттуда кастрюлю с пооббитой зеленой эмалью. В кастрюле хранилось десятка два яиц, Булаиха переложила их на шесток и глянула через кастрюлю на свет.

– Вот, гляди, коль ты мастер лудить-паять.

Цыган взял кастрюлю в руки, заглянул в нее и, показалось Булаихе, вроде бы даже рас-терялся.

– Ца-ца-ца, – сказал цыган и почесал в затылке и еще раз повторил: – Ца-ца-ца...

И тут же что-то вспомнил.

– Давай молоток, бабуся. Есть молоток?

– Есть. У меня старик сапожничал.

– Тогда и лапку давай, – обрадовался цыган.

Старуха пошла швыряться за печкой, а Полуян тем временем выскочил во двор и вернулся с куском алюминиевой проволоки.

На глазах у несколько озадаченной Булаихи постоялец отрубил от принесенной проволоки совсем малую дольку и ловко заклепал ею дырку в дне кастрюли. Причем использовал сапожную лапку точно так, как это делают сапожники, когда вгоняют гвоздь в каблук обуви.

– Держи, бабуся! Цыган нигде не пропадет, тайлаз бимать!

Полуян был рад, сиял.

– Экий ты скорый, – сказала старуха с восхищением и в то же время с недоверием, поэтому тут же налила в кастрюлю воды и стала подсовывать под дно ладонь – мокнет или нет?

Кастрюля не подтекала. Но старуха все еще сомневалась.

– Больно уж хозяйственный, гляжу. Ты, случаем, не от семьи скрылся? Может, и у цыган мода пошла семью бросать?..

– Вот, тайлаз бимать! Я же тебе, бабуся, паспорт отдал. Там ясно видно – холостой! У вас женюсь. Ищи невесту – свадьбу сбацаем.

Булаиха отмахнулась рукой, но уже обмякла, даже улыбнулась. Отмахнулась так: да ну, мол, тебя.

Потом старуха наскоро сготовила яичницу и усадила постояльца за стол. Сама, пока он ел, стояла возле, рассказывала о своем житье-бытье, а больше все о дочкиной несчастливой судьбе. Пьет зятек. И никакого сладу с ним нет. Дочь уж и так и сяк, и бросала его, приезжала сюда, месяц жила. Чулан- то ее. И совсем бы надо бросить, да другого найдешь – почище будет. И что за насыла – пьют и пьют все... Сердце выболело: как она там теперь? И письма нет.

Цыган поел, старуха убрала посуду, стряхнула крошки со стола и, немного стесняясь, поинтересовалась:

– Ты, небось, и на картах гадать умеешь?..

Постоялец смутился.

– У нас, у цыган, вообще-то бабы по этой части... Вообще-то, могу. Карт нет. Бросил я всю цыганщину, бабуся! По-людски хочу жить.

– Да-да, – согласилась Булаиха. – А карты нашлись бы, – и полезла в сундук.

Увидев в ее руках колоду карт, цыган еще на секунду задумался, а потом отчаянно вскинул руку:

– А-а, давай погадаю! Была не была, тайлаз бимать! На какой предмет гадать будем, бабуся?

– На дочку бы, – совсем сникла старуха. – Как она там...

Цыган перетасовал карты, накрыл колоду ладонью и пробормотал:

– Тридцать шесть картей всех мастей, всю правду расскажите, истину доложите...

Потом раскидал карты по столу, разложил по кучкам, потом опять собрал и снова раскидал.

Задумался, пошевелил в забытых губами. Наконец собрал карты в стопку и накрыл ладонью.

– Яваш-яваш пандыр-лаваш цыган все даш-баш, – пробормотал он таинственной скороговоркой и стал выщипывать по одному листу. – Да, бабуся, попивает супруг вашей дочери, попивает... Вот и карты говорят...

– А куда ж ему теперь деваться, – горестно подтвердила Булаиха. – Знамо, попивает...

– Вот и казенный дом вышел. Бубновому королю, ему, значит.

– Чайная, небось. Дочка говорила, они так и роятся возле нее, выпивохи-то. Им не на работу или к семье скорей, они не где пыль, а где был... Цыган выщипнул из колоды еще несколько карт.

– Вот и валет крестовый вышел, дружок ему.

– И от дружков спасу нет, – вздохнула старуха. – Кабы не дружки да товарищи, может, не так алкал.

Цыган выкладывал все новые и новые карты, но уже ничего не говорил, только шевелил губами да изредка взглядывал на открывающиеся листы. Потом вдруг посветлел, заулыбался. Старуха даже встревожилась.

– А вот, бабуся, карты говорят, не так стал пить супруг вашей дочери, как раньше. Меньше стал пить. Вот видишь, бабуся, сначала десятка пришла, потом семерка, потом совсем шестерка... Все меньше и меньше. Зря вы из колоды пятерки, четверки, тройки повыкидывали. Глядишь, и на нет сошло бы...

– Да ведь знать бы, – пожалела старуха. – У нас все их выбрасывают, и я выбросила.

– Вот и дочка ваша появилась, дама пиковая. Вот и покорила ей бубновый король, супруг ее, значит. Тут тебе и любовь пиковая! – Цыган прямо сиял. – Веселей, бабуся, тайлаз бимать!

Но хоть у старушки и отлегло, она еще сомневалась:

– Он уж не первый раз корится. Все, говорит, ни капли больше в рот не возьму, И прощения просит, и уважительный делается... А потом, глядь, – опять сшибся.

Однако цыган уже не слушал ее.

– Вон и внучка ваша тут появилась, все семейство. Есть у тебя внучка, бабуся? Есть внучка, – в удивлении согласилась Булаиха. – Вон карточка на стене, все они там, с внучкой.

– Вот, тайлаз бимать! – в свою очередь удивился цыган. – Карты правду говорят!

Он сгрудил карты в кучу, показывая тем, что гадание окончено, и встал.

– Не зря говорят, бабуся: карты ложь, да в них намек, добрым молодцам урок!

Булаиха согласно закивала и, вконец расстроившись, промокнула глаза занавеской.

Выйдя от хозяйки, цыган направился к речке: помня строгий наказ Булаихи, решил искупаться; а сама Булаиха почти следом за ним побежала по соседним старушкам – разносить добрую весть об умельце-цыгане, обходительном ее постояльце.

* * *

К вечеру из леса по ровным, как стол, займищам потянулись в село поодиночке и группами маевщики. Празднично белели по зеленому лугу рубашки и кофточки, рябила прочая пестрядь. До села доносилась тонкая и непрерывная, как комариный зуд, разноголосица песен. Пеших обгоняли велосипедисты, мотоциклы с двумя и тремя седоками, грузовики с пустыми пивными бочками в кузовах, с людьми, с пустой стеклянной посудой... Постепенно праздничный поток достиг околицы, и село оживило: заходили от дома к дому подвыпившие мужики, завскрикивали песнями и руганью звонкие женские голоса, появилась пригнанная в честь праздника пораньше скотина и сам подгулявший пастух. Он шел в легкой майской пыли, поднятой стадом, и время от времени оглушал и приятно вспугивал улицу резкими щелчками кнута...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.